

КОНЦЕПТ КАВКАЗСКОГО ПЛЕННИКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX В.

И.Л. Багратион-Мухранели

Аннотация. В настоящей статье рассматривается сюжет кавказского пленника, актуальный для русской литературы в течение двух веков. История присоединения Кавказа к Российской империи изобилует ситуациями плена в ходе кавказских войн, продолжавшихся с 1816 по 1864 гг. Эти события отражались как в художественной, так и в документальной литературе XIX в., осмысливались такими писателями, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, беллетристами А.А. Бестужевым-Марлинским, В.И. Далем, М. Ливенцовым, Д.Л. Мордовцевым, авторами массовой литературы для народа Н. Зряховым, для юношества Л.А. Чарской, В. Желиховской. В XX в. к теме кавказского пленника обращались Саша Черный, В. Маканин. Эта история приобрела черты национального мифа в связи с тем, что в ней соединяются аспекты символические и исторические. Кавказский топос отсылает к мифу о Прометее, прикованному к Кавказским горам и Книге Бытия, к горе Арарат, куда приплыл Нов Ковчег (Бытие 8:4, 5). Мотив плена в негативной форме описывает стремление к свободе и ее потерю.

Ключевые слова: плен, свобода, Кавказ, символический план, миф, история, кавказские войны, сюжет, мотив.

THE CONCEPT OF CAUCASIAN CAPTIVE IN RUSSIAN LITERATURE OF THE 19TH CENTURY

I.L. Bagration-Mukhraneli

Abstract. This article explains the plotline of the Caucasian captive, actual for Russian Literature for two centuries. The history of accession of the Caucasus to the Russian Empire is full of prisoners during the Caucasus Wars from 1816 to 1864. These events were described to the Russian fiction and non-fiction literature of the 19th century. The best Russian writers of the 19th century, as A.S. Pushkin, M. Lermontov, Leo Tolstoy had imaged the plot of the Caucasus Captive, as well as A.A. Bestujev-Marlinsky, V.I. Dal, M. Liventzov, D.L. Mordovtzev and the authors of paraliterature like N. Zriahov, L.A. Charskaia, V. Zhelihovskaia, and others. In the 20th century Sasha Cherny, V. Makanin portrayed to the motif of Caucasian Captive. This concept of national myth is a specific literary form of representation of national content. It contains the symbolic and historical aspects. Caucasian topos relates to the myth of Prometheus (chained to the Caucasus mountains) and The Book of Genesis, (to Mount Ararat, where Noah's Ark sailed, Gen. 8:4, 5). Captive's motif in negative form describes a desire for freedom and its loss.

Keywords: captivity, freedom, Caucasus, symbolic aspect, myth, history, the Caucasian Wars, plot, motif.

После вхождения Восточной Грузии в состав Российской империи в 1801 г. в общественном сознании происходит процесс осмысления феномена Кавказа. Русская литература включается в культурное освоение новой территории империи. Кавказ оказался особенно притягательным для читателей. Условный Восток просвещения и классицизма сменил Восток романтизма, с его интересом к местному колориту, этническим описаниям народов других культур, экзотическим подробностям, увиденным путешественниками.

Символическое понимание Кавказа было связано с тем, что Горы – это пространство свободы, место пребывания естественного человека, место, не испорченное цивилизацией. Кавказские горы были связаны с библейской мифологией – к горе Арарат причалил Ноев Ковчег (Бытие 8:4, 5), и русская история получала зримую связь с историей всемирной. К горам Кавказа был прикован Прометей, и таким образом происходило приобщение к античной цивилизации, отсутствие связей с которой у русской культуры так печалило будущих славянофилов.

Красота Кавказских гор как нельзя лучше соответствовала и попыткам романтиков создать новую концепцию природы и показать нового героя, который действовал на их фоне – гордого, мятущегося, исполненного страстей, готового бросать вызов небесам и обществу.

Помимо символично-мифологического аспекта, на Кавказе была противоречивая историческая реальность, проходила колонизация края, которая также вскоре станет источником мифологии. Через Кавказ пролегла граница Европы и Азии, геологический разлом Кавказских гор как бы обнажал столкновение разных уровней цивилизации – со всеми следствиями жизни фронта. Это противоречие будет одним из центральных в описании Кавказа. Литература формировала представления о новых народах и регионах Российской империи и параллельно уточняла и формировала представления о самоидентификации русской нации в соприкосновении с новым топосом.

Концепт «кавказского пленника» также имеет историю, уходящую в мифологическую древность – к терзаниям Прометея, прикованного к Кавказским горам. В мифе соединены воедино бескорыстный дар людям, не владевшим огнем и искусствами, и расплата за этот поступок – плен. Эти понятия накрепко связаны с Кавказом, чья мифологическая аура памяти места оставалась устойчивой, периодически проникая даже в официальные документы Российской империи.

В 1828 г. в утвержденном гербе Кавказской области, в верхней части на золотом поле, был изображен двуглавый орел, сидящий на вершине Кавказа, под ним – цепи Прометея. В нижней части на голубом поле – горец, скачущий на фоне кавказских вершин. Таким образом Российская империя как будто признавалась, что она несет не только «дары цивилизации», но и цепи Прометея.

Тема свободы/несвободы была центральной в литературе XIX–XX вв. Подлинно мифобразующим оказался мотив плена, стоящий в центре поэмы А.С. Пушкина

«Кавказский пленник», ранней поэмы М.Ю. Лермонтова «Кавказский пленник». Необыкновенный герой в необыкновенных обстоятельствах, абсолютизация свободы, местный колорит, конфликт героя и окружающей среды – все эти черты поэтики романтизма способствовали тому, что в литературе на кавказские темы мотив плена, восходивший к «Шильонскому узнику» Байрона, стал одним из центральных.

Мотивы плена есть в «Аммалат-беке» и «Мулла-Нуре» А.А. Бестужева-Марлинского, «Кавказском пленнике» Л.Н. Толстого. Наряду с художественными текстами мотив плена был представлен в литературе документальной («Воспоминания кавказского офицера» Ф.Ф. Торнау) и массовой, низовой литературе («Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная Магометанка, умирающая на гробе своего супруга» Н.И. Зряхова, «Кавказский герой» Д.Л. Мордовцева, «Газават», «Бичо-джан» Л.А. Чарской). Интересно, что произведения эти принадлежат к разным жанрам и стилям, которые объединяет тематическое единство, раскрывающее базовые константы в национальном моделировании.

В основании культурного кода плена лежало утопическое представление о Кавказе как об особой земле – земле свободы, пространстве, куда устремлялись романтические герои. В классическом исследовании Л. Мамфорда «История утопий» автор выделяет два типа проектов: утопии «бегства» и утопии «реконструкции» [Mumford, 1972, p. 15]. Утопия бегства составляет существенную часть кавказского мифа.

Этот устойчивый концепт существовал не только в общественном сознании и литературе, но проникал и в построения ученых. И он остается актуальным и в XXI в. «Дар и Плен» – так назвал свое исследование в серии «Культура и общество после социализма», посвященное взаимоотношениям России и Кавказа, современный американский ученый Брюс Грант [Grant, 2009]. Проблема суверенитета обеих составляющих рассматривается через призму, с одной стороны, «даров цивилизации», которые несла Российская империя на Кавказ, а с другой – той цены, которую приходилось платить за нее горцам, с европейской точки зрения стоявшим, в цивилизационном отношении, на более низком уровне развития. Самобытность традиционных обществ приходилось приносить в жертву прогрессу. Дар в традиционном обществе, как формулирует исследователь архаических обществ М. Мосс, – это способ «купить мир», тот самый мир, который в цивилизованном обществе обеспечивается государством [Mauss, 2002]. Российское государство продвигалось на Кавказ долго и мучительно, несмотря на общность православной церкви с Грузией, добровольное вхождение Картли и Кахетии в состав России.

Брюс Грант посвящает свое исследование анализу феномена кавказской самобытности в ее отношении к России. Он касается столкновений, набегов и торговли, начиная с Петра Великого. Изначально присутствие русских на Кавказе, с начала XVIII в., осуществлялось под знаком Марса. «Кавказский узел» оставался камнем преткновения восточной политики России. Проследив мотив кавказского плена за два столетия, включая кинематографические варианты («Кавказская пленница» Л. Гайдая, «Кавказский пленник» С. Бодрова) и современную прозу («Кавказский

пленный» В. Маканина), Грант задается вопросом, в чем причина популярности мифа о повторяющейся схватке, отбрасывающей победу/колонизацию пленника. Однако цель его в другом: «...не повторять (истории) о покорении жертвы... но проанализировать удивительную устойчивость символического образа “хорошего пленника”. Тогда как вкус к рассказам о колониальных пленниках в Америке и на Ближнем Востоке среди европейских и американских читателей уменьшается по сравнению с девятнадцатым столетием... в России популярность и идеологическое главенство подобных историй сохраняется. Как этот эпический, почти фольклорный, сюжет сохранил свою силу так долго и почему?» [Grant, 2009, p. 16].

Грант рассматривает концепт кавказского пленника (доброе русского пленника) не столько на литературном, сколько на историческом и экономическом фоне. И с учетом обеих точек зрения – и имперской, и кавказской. Американский ученый считает, например, что в сознании Пушкина еще не было сформировано понятие языка похищений в полном объеме – с кражей и захватом невест, с целым комплексом ритуалов принятия и обмена, с ролью мужчин как посредников в кровной мести и крупномасштабных войнах.

Миф о кавказском пленнике много может рассказать о силе, индивидуальности и изменениях, происходивших с Россией. Грант пишет: «В рамках классической антропологической теории обмена мы должны рассматривать его как “искусство диспозиции”, как миф, генерирующий мощный символ принадлежности, которая возникает в весьма напряженной обстановке. В сравнении с хаотичным характером ежедневного насилия в регионе, распространенный взгляд на само насилие поразительным образом укладывается в четкие паттерны. Мифы о хорошем русском пленнике не просто указывают на последствия жестокости на Кавказе; они узаконивают жестокость, задают рамки понимания, позволяющие российскому обществу считать военные усилия своего правительства правомерными и убедительными. В своих ранних воплощениях эти русские пленники были во многом “дарами империи”... Эти “дары империи” давали русской публике многое: мифическую пользу военной экспансии в дальних краях; сильную позицию за столом переговоров с другими державами; имперскую миссию просвещения в форме самодовольного нарратива об отношениях с территориями, совсем недавно ставшими частью империи» [Grant, 2009, p. 16–17].

Брюс Грант ставит себе цель объективно рассмотреть взаимоотношения Империи и Кавказа, выяснить, в какой мере они были позитивными, определялись «дарами» – цивилизаторской миссией Империи, а в какой «пленом», потерей свободы, негативной составляющей колонизации Кавказа.

Вопрос этот – центральный в русской ориенталистике, и ответы на него – прямо противоположные. Деконструкция цивилизаторской миссии Империи лежит в основе одной из фундаментальных работ, посвященных Кавказу, – книги британской исследовательницы Сюзан Лейтон «Русская литература и Империя; покорение Кавказа от Пушкина до Толстого» [Layton, 1994]. Она же является автором ряда

статей, посвященных теме Кавказа в русской классической литературе, в частности «Александр Полежаев и воспоминания о Кавказской войне: конструирование солдата как жертвы» [Layton, 1999].

Сюзан Лейтон интересуют как исторические, так и литературные аспекты кавказианы XIX в. При этом она тонко и глубоко касается проблем, окружающих литературу. Она рассматривает разные реалии из практики Российской империи: понятия территориальных округов и утверждение политического суверенитета в связи с темой народа; опору на силу для подчинения племен, интересы экономического обогащения; частое подавление интересов Грузии и признание просвещения как миссии России в Азии.

Лейтон справедливо замечает, что можно определять различия в позициях ключевых политических субъектов по отношению к Кавказу. Александр I не удовлетворил просьбу генерала А.П. Ермолова о создании большой армии, между тем как Николай I без подсказки предложил высшему командованию неограниченный ресурс русских войск для борьбы с горцами-мусульманами. Несмотря на такое различие, империалистическое отношение, идеи и убеждения – царизм, в общем, – проник в политику XIX в. в отношении Кавказа: политические, военные, экономические, моральные и религиозные факторы действовали сообща, определяя точно такую конфигурацию (с разной интенсивностью) в головах каждого чиновника.

Завоевание произвело обширную литературу о Кавказе, в которой надежно фиксируется не только территория читательской аудитории, но и хронология кавказианы, рассматриваемой в книге. Она определяется культурным горизонтом 1822 г. (время написания «Кавказского пленника» А.С. Пушкина), а ее окончание – написанием (1896) и публикацией (1912) «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого.

Лейтон оценивает также освещение покорения Кавказа в советской историографии. Ленинскую концепцию Российской империи как «тюрьмы народов» сменяет сталинская теория «меньшего зла», каким явилась колонизация для народов Кавказа, подвергавшихся угрозе ассимиляции со стороны Турции и Ирана. Эта концепция была следствием сталинской идеи «семьи народов» во главе со «старшим братом» – русским народом. Отголоски этой идеи в виде «дружбы народов» объясняли внутриимперские взаимоотношения: отношения колонизации, аннексии и завоевания Кавказа продолжали описываться столь же утопически в советских исследованиях еще в восьмидесятых годах XX в. Лейтон справедливо критикует также концепцию «двух России» в трудах В. Базанова – России царизма и России декабристов и Пушкина. В свете этого покоренные народы Кавказа боролись против царизма, а деятельность Российской империи объявлялась реакционной.

Сюда же Лейтон относит и труды Вано Шадури, который был замечательным архивистом-историком литературы, хотя в его работах идеологический диктат проявлялся в меньшей степени, чем у В. Базанова и других советских историков декабризма.

Для освещения Кавказа Лейтон обращается к двум влиятельным концепциям – репрессивной гипотезе дискурса как силы Мишеля Фуко [Foucault, 1979] и описанию

Востока «не с точки зрения Запада» Эдварда Саида [Саид, 2006]. Анализ Фуко безнадежно запутывается в определении доминирования политики или же социо-экономики по отношению к литературе. В качестве альтернативы Лейтон противопоставляет ему понятие «динамического обмена» Саида, между индивидуальными писателями и текстами и комплексными процессами построения империи, в которые они вовлечены. При предоставлении культуре живительной автономии возникает сопротивление государственным политическим вопросам.

Исходя из этих теоретических посылок, Сюзан Лейтон рассматривает динамику текстов русской литературы, вовлеченных в покорение Кавказа. Особым образом, отмечает Лейтон, в «Кавказском пленнике» Пушкина выступает способ изображения России, которая отделена от Азии, литература и политика разведены. Сюжет пленника рисует демаркационную линию, отделяющую читателя от реальности. Но при этом Поэт представляет себя как человека, вернувшегося с границы. Опыт автора накладывается на пространственную траекторию героя поэмы. Терек выступает границей территории пленника. Закубанские равнины не принадлежат этому сюжету. Молчаливый казак, символизирующий «русский штык», встречает героя в России. Пушкин изображает в поэме свободу, мужское начало (мачизм) и нравы. В понимании свободы в связи с Кавказом он во многом опирается на «Дух законов» Ш. Монтескье, писавшего о влиянии климата и географического фактора на характер и темперамент жителей. Пушкин, вслед за В.А. Жуковским, описывая черкесские нравы, вводит понятие «вольность», отличное от «свободы», которая опирается на понятие закона. Сюзан Лейтон всесторонне описывает источники поэмы – «Вильгельма Телля» Ф. Шиллера, поэмы Дж. Байрона.

Помимо пушкинского «Кавказского пленника» она рассматривает кавказские повести А.А. Бестужева-Марлинского, героическое начало произведений М.Ю. Лермонтова, отвержение романтической традиции Л.Н. Толстого, а также его религиозные взгляды и концепцию государства, как она отразилась в «Хаджи-Мурате». Но наиболее подробно в книге исследован «Кавказский пленник» Пушкина как мифопорождающий текст, его географические, идеологические рамки.

Среди авторов, придерживающихся противоположных, позитивных оценок колонизации Кавказа, можно назвать канадского исследователя Катю Хокансон, перу которой принадлежит статья «Литературный империализм, народность и пушкинское изобретение Кавказа» [Hokanson, 1994], а также монография «Написанное на российской границе» [Hokanson, 2010].

Хокансон считает, что русский ориентализм возник в первой половине XIX в. – в то время, когда русское общество стремилось выйти из-под влияния Запада. И «русский Восток», интерес к южным территориям помог русским писателям осознать «русскость». Исследовательница, в основном, описывает то, как происходило освоение Кавказа, находясь в русле исключительно литературной проблематики, часто метафорически экстраполируя понятия национального мифа и самоидентификации на «литературное покорение» Кавказа, выводя их из допущений и гипотез. Конструирование

воображаемой имперской географии зачастую рассматривается как свидетельство экспансии и растущего национализма. Хокансон интересно описывает феномен фронта в литературе, но в книге русская граница не соотнесена с тем, какое воплощение получал этот сюжет в американской и французской литературе. Автор уходит и от объяснения, почему Пушкин в «Кавказском пленнике», после симпатий к вольнолюбивым горцам, завершает поэму эпилогом, прославляющим военные силы империи, хотя вопрос этот многократно обсуждался в пушкинистике. Сомнительно также утверждение Хокансон о том, что в поэме содержится указание на гендерное и геополитическое превосходство русских – на том основании, что Пленник учит Черкешенку русскому языку, хотя текст и черновики поэмы свидетельствуют об обратном [Hokanson, 2010, p. 61]. В книге также есть попытка описать, обращаясь к произведениям А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого, тип русского офицера, осуществляющего колонизацию.

Концепт кавказского пленника теснейшим образом связан с проблемой колонизации, как внешней колонизации – покорения новых земель и подданных, так и внутренней колонизации – освоения этих территорий в государственном и культурном отношении. Особенность колонизации Российской империи состояла в освоении земель приграничных, не отделенных морями и океанами, как у Британии и Франции. Российская колонизация была сухопутной. И сложность ее, что отразилось в длительности кавказских войн, заключалась в этом двойном подчинении. А. Эткинд, исследователь внутренней колонизации России (термин «внутренняя колонизация» широко применяется в исследованиях XIX в.), подходит к описанию проблем Российской империи сквозь призму проблем ориенталистики. Он во многом разделяет взгляды Эдварда Саида, оперирующего понятиями «первый мир», «второй» и «третий», где под первым миром подразумеваются метрополии, а под «третьим» – колонии. Россия в этой парадигме относится ко «второму миру», несущему черты как Запада, так и Востока. Но Эткинд, выстраивая картину российской колонизации в связи с добычей пушнины, проблемами миграции, взаимовлияния колонизирующей и колонизируемой сторон [Эткинд, 2016], практически не касается Кавказа, где его концепция не работает. В отношении Кавказа, присоединение которого осуществлялось, по словам Екатерины II, «христианского человеколюбия ради», не имелось четкой концепции завоевания и дальнейшей колонизации. Практика складывалась из сложной ситуации фронта – места приграничных столкновений, а затем военных действий и внутренней колонизации. Здесь интуиция русской художественной литературы справедливо выделила концепт плена, куда негативной составляющей входило понятие свободы и потери ее в связи с обстоятельствами присоединения Кавказа.

Первая повесть «Пленники Кавказа» появилась в 1815 г. на французском и принадлежала перу Ксавье де Местра. Он описывал историю плена и побега майора Каскамбо, за которого чеченцы запросили огромный выкуп – 10 тыс. рублей. Де Местр сгустил краски: с помощью денщика, убив старика-хозяина, его невестку и даже 8-летнего внука, пленники оказываются на свободе. Миф о пленнике/пленнице стал актуальным на двести лет в русской литературе.

В оригинальном русском произведении, «открывшем» читателям Кавказ – пушкинской поэме «Кавказский пленник», – событий не меньше. Есть и цепи, и двуглавый орел, и гибель черкешенки, и новый романтический герой – предшественник Печорина, Оленина, разочарованный русский. Необыкновенная природа Кавказа, любовь черкешенки к русскому, мотивированная в основном каноном романтической повести (байроновской любовью дикарки к путешественнику), сформировали отношение русских к Кавказу. Соединение любви и свободы останется и в дальнейшем творчестве Пушкина. По полноте охвата ситуации Пушкину удастся создать миф, который будет описывать отношения России и Кавказа не одно столетие – нас здесь любят. Хотя в эпилоге – прославление русского оружия («Восток подъемлет вой», «Смирись, Кавказ, идет Ермолов») [Пушкин, 1977, с. 130].

После «Кавказского пленника» А.С. Пушкина репрезентация Кавказа связана с ограничением свободы протагониста – будь то захваченный горцами воин или не способный избавиться от условностей цивилизации представитель империи. Ограничение свободы подчеркивается при сопоставлении состояний человека и природы, а преодоление несвободы может быть связано лишь с трагедией.

В поэме «Кавказский пленник» Пушкин реализовал возможность утвердить свободу как ценность абсолютную с помощью поэтики контраста. Герой пушкинского «Кавказского пленника» – безымянный «русский» – отправляется на Кавказ за свободой («Свобода, лишь одной тебя / Еще искал в подлунном мире»). И обретает противоположное – плен, «одни железа». То, что Пушкину удалось передать это противоречие – контраст между устремлением и реальностью, романтической свободой и обстоятельствами войны – и обеспечит полноту мифа, соединив свободу/несвободу и плен. Отсутствие свободы передвижения для такого героя, попавшего в плен в ходе войны на Кавказе, особенно драматично. Ведь эта война ведется не по правилам, там «рыскает в горах воинственный разбой».

В «Кавказском пленнике» Пушкин интуитивно соединяет мотивы плена, военной славы и местного колорита. Он не был первым в изображении этих мотивов. Мотив плена получил отражение в прозе А.А. Шишкова «Кетевана, или 1812 год». В описании кавказской природы Пушкин указывал на В.А. Жуковского и Г.Р. Державина как на своих предшественников. Несмотря на это, нет оснований считать, что Пушкин опирался на какую-либо предшествующую литературную традицию. Вряд ли Пушкин знал, что мотив плена разрабатывался в персидской поэзии XI–XIV вв., в частности, в жанре «хабсийят» в «тюремной лирике» Низами и закавказских поэтов Хакани и Фалаки Ширвани [Акимушкина, 2006, с. 75]. И хотя в «Западно-восточном диване» Гете упоминает Низами, у него самого мотив плена встречается в качестве метафоры: Гете говорит лишь о плене любви и «плене зла ночного».

В примечаниях к поэме «Кавказский пленник» Пушкин цитирует Державина «На возвращение из Персии через Кавказские горы графа Зубова» (1797) и Жуковского «К Воейкову. Послание» (1814). Ю.М. Лотман обращает внимание на то, какое влияние оказала поэтическая переписка между Воейковым и Жуковским на

молодого А.С. Пушкина и на поэму «Кавказский пленник» [Лотман, 1996]. Воейков, советовавший Жуковскому писать более длинные сочинения, называл два жанра – сказочная поэма и описательная поэма в духе «Садов» Делиля. «Кавказский пленник», который первоначально носил название «Кавказ», должен был быть именно описательной поэмой, в духе модной на Западе XVIII в. поэтики «живописности», разделявшейся членами «Арзамаса», о чем подробно пишут О. Проскурин [Проскурин, 1999] и Норимацу Кёхэй [Норимацу, 2008].

Норимацу, вслед за Кристофером Эли [Ely, 2002], пронизательно замечает, что для описательной поэмы члены «Арзамаса» выбирают южные колонии империи как объекты изображения, считая, что русские писатели не нашли на родине пейзажей, соответствующих эстетике «живописности». Норимацу анализирует «кавказское» творчество Воейкова, сравнивает глаголы зрения «видел/зрел» в описании Кавказа у Воейкова, Жуковского, Державина и приходит к выводу, что Пушкин в «Кавказском пленнике» трансформирует жанр описательной поэмы [Норимацу, 2008, с. 172–176]. Автор передает герою (больше 100 строк) описание природы и нравов горцев. Но психология Русского при этом почти не раскрывается, это прием условный, направленный на раскрытие живописности. У большинства современных Пушкину рецензентов возникает ощущение несвязности текста. Вершинная композиция романтической поэмы воспринимается как недостаток: картина великолепная, но драма и характеристика героя бедные [Жирмунский, 1978, с. 182–183].

Избранный сюжет был необычен для жанра поэмы, для которого было характерно изображение событий либо волшебных, либо героических. В «Кавказском пленнике» история была взята «из жизни», но отличалась необычностью, исключительностью – в соответствии с каноном романтического характера, и была резко мелодраматичной, архитипической, восходящей к сюжету «Бедной Лизы» Карамзина. Однако в отличие от историй сентиментальных, где читатель ждал противопоставления «чувствительного и холодного», в «Кавказском пленнике» Пушкин почти не останавливается на раскрытии характеров. Но он находит точный поэтический ход – герой и место действия описаны слитно. «Как истинный поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою поэму как *эпизод к стати*, – пишет Белинский, – это было бы слишком дидактически. А, следовательно – и прозаически, и потому он тесно связал живые картины Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, но передает и их как впечатления и наблюдения Пленника, героя поэмы, и оттого оне дышат особенной жизнью, как будто сам читатель видит их собственными глазами на самом месте» [Белинский, 1948, с. 439]. Белинский замечает, что «черкешенка есть лицо совершенно идеальное», и отмечает некоторую детскость в передаче чувств героев, особенно понравившихся читателям.

Канон романтической поэмы и повести требовал изображения «любви дикарки к белому человеку», путешественнику, оказавшемуся на Востоке. Но у Пушкина в поэме наряду с пленником показаны герои совсем другого порядка. Автор «Кавказского пленника», подобно Вергилию, создавал новое качество художественного вымысла (Вергилий в «Энеиде» соединял мифологию с

реальностью — поместив в виде предсказания о будущем рассказ о славе современного ему Рима). Характер безымянного пушкинского Пленника был погружен в реальный материал по истории Кавказа. Это не только рассказ старого инвалида о пребывании в плену у черкесов, который слышал Пушкин и который послужил толчком для создания поэмы. В Феодосии Пушкин жил в доме С.М. Броневского, который в 1802–1804-х гг. занимал должность правителя канцелярии главнокомандующего на Кавказе П.Д. Цицианова. В 1823 г. Броневский выпустил сочинение под названием «Новейшие географические и исторические сведения о Кавказе». По мнению историка Кавказа Е. Вейденбаума, очерк быта черкесов в «Кавказском пленнике» во многих отношениях напоминает описание этого народа в книге Броневского [Вейденбаум, 1908, с. 18]. Пушкин в поэме соединяет историю вымышленных героев в эпилоге с именами Ермолова, Котляревского, Цицианова, причем делает это с откровенно имперских позиций, поскольку имперский миф — о цивилизаторской функции России по отношению к горцам — разделялся декабристами и Пушкиным.

Современники — и читатели, и критики — приняли «Кавказского пленника» с восторгом. Самая неясность и неопределенность главного героя позволяла молодым людям 1820-х гг. отождествлять себя с разочарованным, пресыщенным пленником. Белинский обратил внимание на то, что Пушкин первый указал здесь на те черты, которые он увидел в обществе — старость прежде юности, кипение крови при душевном холоде, апатия при жажде деятельности. При этом Пушкин противопоставляет две оппозиции: Восток/Запад и Юг/Север. Первая из этих парадигм соотнесена с оппозицией «природа/цивилизация» и находится в русле просветительской традиции, вторая отождествляется с оппозицией «природа/культура». «Первая парадигма развивает традицию, заложенную кругом философских идей XVIII века (Руссо, Мабли, Гельвеций), здесь образы кавказцев функционально сближаются с ипостасями Другого, прежде всего, с цыганской темой, и включаются в оппозиции противоположенной “неволи душевных городов” — “дикой вольности”. Однако... решение кавказской темы вписано в цивилизационный контекст: противопоставление “лукавого Запада” “девственному Кавказу”» [Бреева, Хабибуллина, 2009, с. 174]. Новый герой «Кавказского пленника», лишенный имени — «русский» — соотносится с усталостью западной, и русской в том числе, культуры.

Современная исследовательница Л.А. Ходанен справедливо считает, что можно говорить и о «метафизической ауре» текстообразующего пространства, что в «Кавказском пленнике» созданы будущие кавказские метасюжеты — кавказская война, кавказский пленник, кавказский роман [Ходанен, 2015, с. 50].

У М.Ю. Лермонтова также формируется интерес «к Азии», глубокий и постоянный, отразившийся во многих произведениях. Существует обширная литература, связанная с отражением различных культур в творчестве Лермонтова. Он обращался к грузинскому фольклору («Мцыри»), карабахскому варианту тюрко-огузской народной повести «Ашик-Гариб», черкесскому преданию об ауле Бастунджи, к адыгскому,

натухайскому, дагестанским преданиям, подробно рассмотренным в работе А. Игнатьева [Игнатьев].

В ранней поэме Лермонтова «Черкесы» (1828), где обнаруживаются подражания Пушкину, Дмитриеву, Козлову, Байрону, основа сюжета — желание князя вызволить из плена брата. Больше 70 строк уделены описанию природы, действие охватывает и черкесский лагерь, и стан русских в большой крепости на горе. «Там стражи русские стоят; / Их копыта острые блестя; / Друг друга громко окликают: / “Не спи, казак, во тьме ночной; / Чеченцы ходят за рекой”» [Лермонтов, 1955, с. 8]. Пушкинской цитате из «Кавказского пленника» («Не спи, казак...») здесь придан статус фольклорного высказывания. Поэма сознательно литературна, в композиции также видно влияние «Кавказского пленника». С эпилогом пушкинской поэмы перекликаются строки «Черкесы побеждены мчатся, / Преследуемые толпой / Сынов неустрашимых Дона, / Которых Рейн, Лоар и Рона / Видали на своих брегах» [Лермонтов, 1955, с. 14]. Лермонтов в «Черкесах» использует мотив, который в дальнейшем получит развитие в творчестве Л.Н. Толстого — горец в плену у русских — и будет использован в повести «Хаджи-Мурат».

Поэма Лермонтова «Кавказский пленник» (1828), также во многом подражательная, заимствует смысловое ядро пушкинской поэмы, но имеет существенное отличие, особенно в финале. Лермонтов более детально прописывает черкесский мир, наделяет именем (Гирей) того, кто взял в плен русского. Пленник пасет черкесские стада не один, у него есть товарищи. Больше внимания поэт уделяет и психологии героев. Но в этой поэме Лермонтов не касается темы военной славы России, Ермолова, покорения Кавказа, как в эпилоге пушкинской поэмы. Побег лермонтовского пленника неудачен, хотя черкешенка приходит его освободить. Пленника убивают, гибнет и его освободительница. Эта несколько мелодраматическая концовка усиливает мотив невольной вины стариков-родителей в гибели детей. Мотив этот будет повторяться в кавказских произведениях Лермонтова. Просьба старика в поэме «Хаджи Абрек» вернуть его Лейлу приводит к гибели героини. Хотя она счастлива с мужем Бей-Булатом, похитившем ее, для отца важнее соблюдение законов адата, чем реальная жизнь и счастье дочери. Героиня становится жертвой мести ее мужу со стороны Хаджи Абрека, который не хотел просто лишить жизни обидчика, но, как Сильвио в «Выстреле» Пушкина, жаждал уязвить его сильнее, лишив любимого существа. Эта двойная мотивировка, в основе которой исполнение суровых законов, показывает бесчеловечность обоих. В этих произведениях Лермонтов подводит читателей к осознанию различий в национальной психологии русского и кавказцев, выстраивая представление о нации с помощью литературных нарративов.

В «Герое нашего времени» Лермонтов рисует ситуацию поликультурности Кавказа глазами «настоящего кавказца». Штабс-капитан Максим Максимыч — носитель традиционного отношения русских военных к горцам: «Ужасные бестии эти азияты!.. Ужасные плуты!.. Любят деньги драть с проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. [...] осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них прикрикнул, что они вмиг

разбежались. Ведь этакой народ! – сказал он, – и хлеба по русски назвать не умеет, а выучил: “Офицер, дай на водку!” Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие...». Высказываясь о различных народах Кавказа, с которыми ему пришлось общаться, Максим Максимыч различает осетин, чеченцев, татар. Хотя «татарами» русские называли собирательно многие народности. Лермонтов чрезвычайно внимательно изучает их культурное своеобразие и различия. Еще в первой половине марта 1837 г. в письме С. Раевскому Лермонтов обещает: «Я буду к тебе писать про страну чудес – восток. Меня утешают слова Наполеона: *Les grands noms se font à l’Orient*»¹. А в конце года он пишет из Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, – да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии мог бы пригодиться. Я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским» [Лермонтов, 1957, с. 441].

Мотив плена занимает значимое место в «кавказских» произведениях писателя, критика и публициста А.А. Бестужева-Марлинского, имевших широкую известность и популярность у русской читающей публики.

В годы якутской ссылки А.А. Бестужеву хотелось написать произведение на этнографическом материале. Желание это осуществилось после того, как его перевели на Кавказ. Здесь он получил возможность «...изобразить ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев... жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную хитрость» [Марлинский, 1838, с. 245–246] и стать настоящим героем, кумиром своего поколения.

«...Я вижу Кавказ совсем в другом виде, как воображают его себе власти наши», – писал А. Марлинский в 1833 г. в одном из писем к братьям Полевым [Бестужев-Марлинский, 1972, с. 156]. «Поэты сделали из этого великана в ледяном венце и в ризе бурь какой-то миндальный пирог, по которому текут лимонадные ручьи», но надо избегать «розовой воды» и «цветных арабесок», показать недостатки и добрые качества горцев, способствовать уменьшению первых и увеличению вторых, просвещением искоренять религиозные и национальные предрассудки, поддерживаемые магометанством, и тем самым выводить народы Кавказа на путь благосостояния и культурного прогресса [Марлинский, 1838, с. 245].

Ко времени появления Бестужева на Кавказе кавказская тема приобрела значение литературной традиции, отмечает Н. Маслин [Маслин, 1958, с. 160–161]. Но Марлинского не удовлетворяли как сочинения о Кавказе иностранных ученых-ориенталистов, ничего не говоривших о его жителях, так и произведения слащаво-сентиментальной поэзии. Бестужев-Марлинский решительно взялся заполнять лакуну, изображать новых, овеванных кавказским колоритом героев, что было востребовано читающей публикой.

¹ Великие имена создаются на Востоке (фр.)

Сюжеты подсказывала сама кавказская действительность, хотя они и воспринимались как результат богатой фантазии автора. Финал повести «Аммалат-бек» завершается в духе настоящего триллера, когда Аммалат-бек отрезает голову мертвому Верховскому, чтоб добиться расположения аварского хана Аслан-бека, противника русских, и руки его дочери.

Эта история — ее кровавая часть — произошла в действительности, в 1816 г., правда, до того, как Бестужев начал служить на Кавказе, но была широко известна среди военных и имела отношение к явлению плена.

Мотив плена/освобождения/выкупа был в центре истории, которую Бестужев-Марлинский трансформировал в своей повести. Майор Павел Швецов служил в Грузинском гренадерском полку и, получив отпуск, отправился из Шемахи в Кизляр, чтоб повидаться с родными. Но, желая выиграть время, он поехал не по Военно-Грузинской дороге, а через Дербент и Кази-Юрт в Северном Дагестане. Швецов не стал дожидаться оказии (вооруженного сопровождения), а обратился к кумыкскому князю Шефи-беку, который отвечал за безопасность проезда на этом отрезке, и с небольшим отрядом в 20 человек отправился в путь. За несколько верст до Кизляра отряд конных чеченцев внезапно расстрелял почти всех путников. Трое остались в живых. Раненого майора и его денщика увели в аул Большие Атаги, где посадили на цепь и потребовали выкуп в десять арб серебряной монетой. Попытки разыскать майора успеха не имели. Майор пробыл в плену, в глубокой яме, два года. Денщик Швецова доставил письмо о цене огромного выкупа русским. Удалось снизить цену выкупа до двухсот пятидесяти тысяч рублей, но и эти деньги взять было неоткуда, хотя для сбора средств открыли подписку среди военных.

В сентябре 1816 г. наместником Кавказа был назначен генерал А.П. Ермолов. Узнав о злоключениях Швецова, он приказал арестовать всех князей и владетелей, 18 человек, через земли которых проезжал майор Швецов, и обещал всех их повесить через десять дней, если деньги для выкупа не найдутся. Деньги нашлись. Их внес аварский хан, и Швецова освободили.

На этом злоключения Швецова не кончились. Он умер от лихорадки в 1822 г. и был похоронен в Дербенте. А через год могила его была осквернена. Аммалат-бек разрыл ее, отрезал голову и руку Швецова, чтобы добиться права жениться на Султанете. Бестужев-Марлинский в примечаниях писал: «Что же касается до зверского гробокопательства Аммалата — и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон, на другую ночь, могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке... ее приняли за могилу Верховского... труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с негодованием вспоминают все солдаты» [Бестужев-Марлинский, 1995, с. 93].

Об этой истории упоминают А.П. Ермолов в своих «Записках» [Ермолов, 1991, с. 463] и историк Кавказа В. Потто [Потто, 1887]. И хотя реальность изобилует драматическими событиями, Бестужев считает необходимым ее трансформировать.

Так, в повести появляется мотив выбора судьбы, характеризующий романтического героя, отступничества ради любви. Описывая плен героя, Бестужев снабжает Аммалат-бека биографией, из которой явствует, что герой вместе с отцом присягал русским, затем изменил и только после этого попал после неудачного боя в плен.

Возможность плена и перемены судьбы – кавказская реальность, фон, на котором разворачиваются дальнейшие события.

Еще одна кавказская повесть, «Мулла-Нур», также написана на реальном, современном Бестужеву материале. Один из героев ее – известный благородный разбойник Мулла-Нур, кавказский Карл Моор, как назовет его Белинский. О нем писал и В.И. Даль в «Рассказе лезгинца Асана о похождениях своих. (Писано со слов рассказчика)», где говорится о Мулла-Нуре, что смелость его и неустранимость были ведомы всякому, и его боялись все [Даль, 1897, с. 169]. В этой повести, которая имеет у Бестужева подзаголовок «быль», два главных героя – Искандер-бек, фольклорный герой, чистый сердцем, совершающий подвиг ради народа своего рода, Дербента, и благородный разбойник, устраивающий его судьбу. Кроме того, в повести представлен целый спектр отрицательных и плутовских персонажей, в том числе Гаджи-Юсуф, трус и хвастун, своего рода Санчо Панса при Ибрагим-беке, ряд второстепенных героев – жителей Дербента. Композиция повести более изобретательна и прихотлива, чем остальные кавказские повести Бестужева-Марлинского.

Мотив плена присутствует в «Мулла-Нуре» в разных аспектах – трагическом, ироническом, психологически-нарративном. Повесть строится как история, которую узнает рассказчик, оказавшийся в плену у благородного разбойника Мулла-Нура. Но начинается эта «быль» с самостоятельного законченного рассказа о женитьбе Искандер-бека в фольклорной наррации. Касаясь судьбы Мулла-Нура, автор приводит такой диалог. После слов: «И он погиб!» следует уточнение «– Взят в плен? // – Лег на месте» [Бестужев-Марлинский, 1995, с. 202]. То есть, с авторской точки зрения, плен для дербентца столь же ужасен, как смерть.

А в следующей главе мотив плена низведен до комического эпизода, пародийного пленения. Перепуганного труса и хвастуна Юсуфа на спор берет в плен женщина, жена Мулла-Нура Гюль-шад. Затем следует эпизод попытки договориться о выкупе с похитителем, а через несколько сцен – продолжение розыгрыша – испытание поведения Юсуфа накануне мнимой казни.

В финале повести Бестужев-Марлинский снова отходит от канона мотива плена. Мулла-Нур спасает жизнь автору, прежде чем взять его в плен. Пленник и разбойник оказываются равно благородными героями, следует взаимное испытание характеров, и затем Мулла-Нур завершает поединок в благородстве словами: «Я положу свое сердце на ладонь твою и расскажу тебе все» [Бестужев-Марлинский, 1995, с. 286]. После чего следует скупое сообщение, что он рассказал главные случаи своей жизни, которые Бестужев-Марлинский записал не вполне и не во всей силе. Однако это умаление – литературный прием. В письме к братьям А.А. Бестужев

писал в конце 1835 г.: «Вы требуете, чтоб я во что бы то ни стало сделался мусульманином; чтобы вам угодить, я написал восточную повесть под заглавием “Мулла-Нур”... Это картина ... списанная с природы, в том смысле, что прототипы моих персонажей и обороты речи в точности соответствуют действительности... Это первое произведение, написанное одним махом и без поправок... по материалам моего дневника, представленным в нем с большей значимостью, чем в официальном отчете» [цит. по: Канунова, 1995, с. 642].

Произведение имело очень большой успех и формировало поведение читателей Марлинского. Фон дер Ховен, встретившийся на Кавказе с Марлинским, вспоминал: «Я просился сам в командировку на Кавказ; и теперь, находясь подле вас, творца повести “Мулла-Нур”, восклицаю вашими же словами: “Кто мне даст голубиные крылья взлететь на темя Кавказа!”. Вот я здесь, на темени кавказских гор, без голубиных крыльев, и взошел я на него вполне разочарованный. Что мне все эти прелести природы, когда я, измученный трудами Кавказской войны, не в силах ими восхищаться? Не хочу ни крестов, ни чинов, — а только бы отпустили душу мою на покаяние; — предвидя такие труды, я никогда бы сюда не заглянул! Бестужев с улыбкою внимал правдивому рассказу моему и хотел ответить, но в это время раздался сигнал: “вперед!”. Я поспешил в цепь, а он остался на месте» [Ховен, 1877, с. 221].

Но в середине 1830-х гг. В.Г. Белинский вынес новый вердикт его прозе: «Марлинский, доселе шедший, по-видимому, впереди всех, вдруг очутился назади» [Белинский, 1953, с. 272], — отсутствие глубины и подлинного драматизма, подмена психологической характеристики риторикой, утомительное однообразие героев и их речей привело к тому, что критик начал вести борьбу с «марлинизмами».

Между тем картина восприятия Марлинским реального Кавказа лишена литературных преувеличений. «Будьте уверены, что покуда просвещение не откроет новых средств к довольству и торговля не разольет его поровну во всех ущельях Кавказа, горцев не отучат от разбоев даже трехгранными доказательствами» (т.е. штыковой атакой, «трехгранное доказательство» — штык) [Марлинский, 1839, с. 42].

При этом Бестужев не отличается европоцентризмом. Он учит татарский, в его повестях появляются слова на чеченском, кабардинском, в «Аммалат-беке» — 25 иноязычных выражений. В одном из кавказских произведений Бестужева находим развернутую программу межнациональных отношений. Характеризуя героя, Бестужев пишет: «Он очень здраво судил и об изучении языков, называя их гранью слова, ума, воображения, под которою та же самая вещь представляется в тысяче различных видах [...] В каждом языке, в каждом авторе есть выражения непере译имые, и все объезды слога не выразят их вполне; и не в одной литературе, даже в философическом отношении, изучение языков полезно. Для ума наблюдательного вся история народа, все развитие ума начертано в его языке, и часто простое слово, которое один человек употребляет в составлении речи, как наборщик свинцовую букву, дает ему новую идею, внушает счастливое сравнение, оправдывает историческую догадку» [Бестужев-Марлинский, 1995, с. 174].

В этом очерке автор-рассказчик — наиболее сложный и интересный персонаж, хотя в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» есть и бытовые анекдоты, и рассказы о храбрости и доблести горцев, их отношении к религии, фольклору. Автор стремится нарисовать образ народа, передать его облик.

Бестужев-Марлинский — «зачинщик романтической повести», по определению Белинского, только начинал разрабатывать эти мотивы в прозе. Он использовал стиль яркий, «огнистый», с многочисленными обращениями к читателю, нарочитыми повторениями, отчасти заимствованный у Лоренса Стерна, отчасти — изобретенный самостоятельно. Романтическая поэтика исключительности получала у него ярко выраженный характер. Желая сделать повествование динамичным и ярким, Бестужев переводил поэтические выразительные средства в прозу, но злоупотреблял метафорами, авторскими остротами, что порой воспринималось как чрезмерность, перешедшая затем в массовую литературу подражателей Марлинского. Но сам писатель, сосланный на Кавказ, разжалованный офицер-декабрист, был настоящим героем, кумиром своего поколения. Его кавказские повести имели оглушительный успех в начале 1830-х гг. И.С. Тургенев признавался в письме к Л.Н. Толстому, что он «...целовал имя Марлинского на журнальных обложках» [Переписка И.С. Тургенева, с. 118]. Характеризуя в «Записках охотника» литературные вкусы Чертопханова, героя очерка «Чертопханов и Недопюскин», Тургенев сообщает, что его герой «из русских писателей уважал... Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля назвал Аммалат-Бекком» [Тургенев, 1949, с. 236]. М.Ю. Лермонтов рисовал героев кавказской повести «Аммалат-бек», А. Дюма после путешествия на Кавказ в 1857 г. сделал перевод этой повести на французский под названием «Султанетта». Как отмечает современный американский исследователь Мерсеро, «в “Казаках” Л.Н. Толстого главный герой, Оленин, приезжает на Кавказ под влиянием творчества Марлинского, как наверное, и сам Толстой» [Mersereau, 1983, p. 121].

В 1864 г. закончились кавказские войны, а история кавказского пленника получила новую жизнь в русской литературе. Она была связана с новаторскими идеями Л.Н. Толстого. Он дважды обращался к мотиву плена. В первый раз — в четвертой Русской книге для чтения, где безыскусно рассказана история пленения Жилина и Костылина — прозаическое переложение для детей пушкинской поэмы. Второй раз — зеркально поменяв местами разбойных горцев и русских — плен и бегство героя в повести «Хаджи-Мурат».

По окончании кавказских войн появилось большое количество мемуарной литературы, посвященной Кавказу. Несомненно, Л.Н. Толстой был знаком с воспоминаниями барона Ф.Ф. Торнау, который провел два года в плену у горцев. Достоинство, презрение к житейским лишениям, энергия и сметка героя, трогательная симпатия черкесской девушки к пленнику роднят Жилина с прототипом. Но фабулой далеко не исчерпывается «Кавказский пленник» Толстого.

1 ноября 1872 г. в журнале «Заря» был напечатан «Кавказский пленник». Толстой писал Н.Н. Страхову: «Для “Зари” я написал совсем новую статью

в “Азбуку” – “Кавказский пленник” и пришлю не позже, чем через неделю...
Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этой статье. Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших» [Толстой, 1982, с. 318].

Незадолго до этого, в третьей книге, Толстой поместил несколько охотничьих «рассказов офицера»: «Булька»; «Булька и кабан»; «Булька и волк» и др. Действие этих рассказов и описаний происходит на Кавказе: «Когда я уезжал с Кавказа, тогда еще там была война, и ночью опасно было ездить без конвоя», – пишет автор. Эпическую интонацию Толстой соединяет с авторским «я», и это непосредственное свидетельство говорит о том, что речь идет о современности. В целом же единый остранный стиль книг создает ощущение мифологическое. О современном Кавказе говорится таким же языком, как об основании Рима или о китайской царице Силянчи, Поликрате Самосском и природе магнетизма и электричества. Толстой формирует корпус детского чтения, и заметное место в нем принадлежит «Кавказскому пленнику». Любопытно, что через полвека Саша Черный пишет рассказ «Кавказский пленник» – о том, как петербургские дети играют в героев рассказа Л.Н. Толстого, свято веря, что все описанное в нем было на самом деле.

Для подрастающего поколения эта повесть (быль), как ее обозначает Толстой, имеет большое значение. Толстой меняет мотивацию – не объяснимую рационально любовь к русскому пушкинской черкешенки на жалость девочки Дины, которая привязалась к Жилину и помогает ему из человеколюбия. Чувства, перед которыми равны люди разных возрастов и национальностей, учат читателей гуманности и уважительному отношению к Другому, образ которого Толстой нарисует с таким мастерством в «Хаджи-Мурате».

В «Кавказском пленнике» Толстой также ясно формулирует свои представления о добре, достоинстве человека, поведении на войне. Жилин, бедный офицер, умеет и часы починить своими руками, и сделать кукол из глины. А главное, не мирится с пленом, с жестокой судьбой. Мера человека, его ценность в том, что он делает: «не годится товарища бросать». Костылин – «рыхлый», изнеженный, трусливый, надеющийся на выкуп – получает по заслугам.

В этой повести Толстой достигает лаконизма и эпической интонации, спрессовывая в одном эпизоде события, которых хватило бы на целый роман в духе Бестужева-Марлинского. «Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит: “Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку – Богу молиться. От этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить, – я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал”. Смеется,

сам приговаривает по-русски: “Твоя, Иван, хорошо, моя Абдул, хорошо!”» [Толстой, 1982, с. 219].

Скупость, с какой описаны эпизоды, характеризующие жизнь героя, не производит впечатления неполноты. Важность упомянутых событий создает ощущение целостности, а многое может быть додумано читателем. Ясность изложения сохраняет интонацию разъяснения и восходит к книгам для народа: «Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает». Следующее предложение никак не является тематическим продолжением предыдущего, но передает логику персонажа и имитирует устную речь с ее свободными переходами от одной темы к другой. «Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя тебя убить, — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил...» [Толстой, 1982, с. 219]. Характерно, что собственное отношение Абдулы в его системе ценностей стоит после «экономической составляющей» и необходимости послушания старшим. Толстой умеет самой последовательностью перечисления показать ценностную иерархию, а через нее — психологию Другого, человека иной конфессии и национальности — эти свойства получают особенно полное воплощение в повести «Хаджи-Мурат».

В «Кавказском пленнике» писательская объективность и сдержанность — не единственный метод описания. Трогательно рисует Толстой сцену второго побега Жилина и его прощание с Диной, встречу в крепости: «Братцы! Выручай! Братцы!.. Окружили его казаки спрашивают: “кто он, что за человек, откуда?” А Жилин сам себя не помнит, плачет и приговаривает:

Братцы! Братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает» [Толстой, 1982, с. 229–230].

Толстой отказывается от психологического анализа, «диалектики души» персонажа, от подробного авторского комментария. Метод исчерпывающего деления восходит к классицизму Пушкина и античности. Здесь, как в поэмах Гомера (а Толстой начал изучать древнегреческий в процессе работы над «Книгами для народа», чтобы лучше понять Гомера), чувства выражаются перечислением действий, и это делает текст понятным самому широкому кругу читателей, а сама повесть обретает черты эпичности.

В «Хаджи-Мурате» пленником оказывается представитель тех самых воинственных горцев. И его бегство из плена, порыв к свободе описаны столь же сочувственно, как у романтического русского в поэме Пушкина. Толстой достигает глубины и сочувствия в постижении Чужого, врага. В «Хаджи-Мурате» врагом героя оказываются государство, Николай I и Шамиль, определяющие судьбу конкретного человека. Сюжет, опробовав различные варианты, как бы описав полную окружность, получает завершенность и полноту мифа. Горы — плен — побег. В одних случаях порыв к свободе оказывается успешным — в пушкинской поэме и ранней повести

«Кавказский пленник», в других – ведет к трагической гибели: в лермонтовском «Кавказском пленнике» и повести Толстого «Хаджи-Мурат».

Л.Н. Толстой смог избежать схематичного изображения народов фронта исключительно как врагов, с которыми ведется война. Человечность и справедливость, умение различать в «дикарях», «хищниках» черты, достойные уважения, – таков был итог соприкосновения русской культуры с народами Кавказа. И цивилизационная миссия Российской империи, задачи просвещения края исполнялись не столько в насаждении законов и правил администрации Российской империи, сколько в умении видеть чуждый мир достойным если не инкорпорации, то взаимодействия.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Акимушкина Е.А. Жанр хабсийят в персоязычной поэзии X–XIV вв.: генезис и эволюция. М.: Изд-во «Наталис», 2006. 175 с.

Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. Т. 1. Статьи и рецензии. Художественные произведения. 1829–1835. М.: Акад. наук СССР, 1953. 574 с.

Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая // *Белинский В.Г.* Собр. соч. в 3-х т. Т. III. М.: ОГИЗ ГИХЛ, 1948. 928 с.

Бестужев-Марлинский А.А. Кавказские повести. СПб.: Наука, 1995. 703 с.

Бестужев-Марлинский А.А. Мулла-Нур. Быль // *Бестужев-Марлинский А.А.* Кавказские повести. СПб.: Наука, 1995. С. 185–287.

Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе. Казань: ТГГПУ, 2009. 611 с.

Вейденбаум Е. Пушкин на Кавказе в 1820 году // Пушкин А.С. Собр. соч. в 6-ти т. СПб.: Брокгауз–Ефрон, 1907–1915. Т. II. 1908. 640 с.

Даль В.И. (Казак Луганский). Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих (писано со слов рассказчика) // *Даль В.И.* Полн. собр. соч. СПб.; М., 1897. Т. 2. С. 150–206.

Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова 1798–1826. М.: Высшая школа, 1991. 463 с.

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л.: Наука, 1978. 424 с.

Игнатъев А. Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. URL: [http:// nsportal.ru/ ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-m-yu-lermontova](http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-m-yu-lermontova) (дата обращения – 8 августа 2019 г.)

Канунова Ф.З. Составление, статья, комментарии // *Бестужев-Марлинский А.А.* Кавказские повести. СПб.: Наука, 1995. 703 с.

Лермонтов М.Ю. Сочинения в 6-ти т. Т. 6. Проза. Письма. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1957. 900 с.

Лермонтов М.Ю. Черкесы // *Лермонтов М.Ю.* Сочинения в 6-ти т. Т. 3. Поэмы. 1828–1834. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. 326 с.

- Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской литературе // *Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста*. СПб.: Искусство-СПб, 1996. С. 468–486.
- Марлинский А. Полн. собр. соч. в 12-ти ч. Ч. IV. Русские повести и рассказы. СПб.: Тип. III Отделения собственной Е.И.В. Канцелярии, 1838. 269 с.
- Марлинский А. Полн. собр. соч. в 12-ти ч. Ч. X. Кавказские очерки. СПб.: Тип. III Отделения собственной Е.И.В. Канцелярии, 1839. 305 с.
- Маслин Н. О романтизме А. Марлинского // *Вопросы литературы*. 1958. № 7. С. 141–169.
- Норимацу К. Субъекты колониальной репрезентации в русской литературе XIX века // *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context*. Т. Mochizuki (Ed.). Sapporo: Slavic Reserch Center, Hokkaido University, 2008. С. 167–187.
- Переписка И.С. Тургенева в 2-х т. / Ред. К.И. Тюнькин. Т. 2. М.: Художественная литература, 1986. 607 с.
- Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. 2-е изд. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887.
- Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: Новое литературное обозрение, 1999. 462 с.
- Пушкин А.С. Кавказский пленник // *Пушкин А.С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. Т. 4. Поэмы. Сказки*. Л.: Наука, 1977. 447 с.
- Саид Э.В. Ориентализм. СПб.: Русский Миръ, 2006. 640 с.
- Толстой Л.Н. Кавказский пленник // *Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22-х т. Т. X. Повести и рассказы. 1872–1886*. М.: Художественная литература, 1982. С. 203–230.
- Тургенев И.С. Записки охотника // *Тургенев И.С. Собр. соч. [в 11-ти т.] Т. 1*. М.: Изд-во «Правда», 1949. С. 5–296.
- Ховен фон дер И.Р. Мое знакомство с декабристами и другими замечательными личностями, служившими рядовыми в Кавказских войсках в 1835–36 годах: рассказ очевидца // *Древняя и Новая Россия*. 1877. Т. I. № 2. С. 221–224.
- Ходанен Л.А. Культурный концепт «Кавказ» и его текстообразующая роль в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова // *Сибирский филологический журнал*. 2015. № 4. С. 47–57.
- Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 448 с.
- Ely C. This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002. Ch. 2. 278 p.
- Foucault M. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. New York: Vintage, 1979. 333 p.
- Grant B. The Captive and the Gift. Cultural Histories of Sovereignty in Russia and the Caucasus. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2009. 188 p.
- Hokanson K. Literary Imperialism, Narodnost' and Pushkin's Invention of the Caucasus // *Russian Review*. 1994. Vol. 53. Iss. 3. Pp. 336–352.

- Hokanson K.* Writing at Russia's Border. Toronto: University of Toronto Press, 2008. 301 p.
- Layton S.* Aleksandr Polezhaev and Remembrance of War in the Caucasus: Constructions of the Soldier as Victim // *Slavic Review*. 1999. Vol. 58. Iss. 3. Pp. 559–583.
- Layton S.* Russian Literature and Empire. Conquer of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 354 p.
- Mauss M.* The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. London: Routledge, 2002. 199 p.
- Mersereau J.Jr.* Russian Romantic Fiction. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1983. 336 p.
- Mumford L.* The story of Utopias. New York: The Viking Press, 1972. 315 p.

REFERENCES

- Akimushkina E.A. *Zhanr habsijjat v persojazyčnoj poezii X–XIV vv.: genezis i jevoljucija* [Genre Habsiyyat in Persian-language Poetry of the X–XIV Centuries: Genesis and Evolution]. Moscow: Natalis Publ., 2006. 175 p. (in Russian).
- Belinskij V.G. *Polnoe sobranie sochinenij v trinadcati tomah. Tom. 1. Stat'i i recenzii. Hudozhestvennye proizvedenija. 1829–1835* [Complete Works in 13 vol.]. Moscow: Akademija Nauk SSSR, 1953. Vol. 1. Articles and Reviews. 1829–1835. 574 p. (in Russian).
- Belinskij V.G. Sochinenija Aleksandra Pushkina. Stat'ja shestaja [Works of Alexander Pushkin. Article Six], in *Belinskij V.G. Sobranie sochinenij v treh tomah* [Collected Works in 3 vol.]. Moscow: OGIZ GIHL Publ., 1948. Vol. III. 928 p. (in Russian).
- Bestuzhev-Marlinskij A.A. *Kavkazskie povesti* [Caucasian Novels]. Sankt-Petersburg: Nauka Publ., 1995. 703 p. (in Russian).
- Bestuzhev-Marlinskij A.A. Mulla-Nur. Byl' [Mullah-Nur. The True Story], in *Bestuzhev-Marlinskij A.A. Kavkazskie povesti* [Caucasian Novels]. Sankt-Petersburg: Nauka Publ., Pp. 185–287 (in Russian).
- Breeva T.N., Habibullina L.F. *Nacional'nyj mif v russkoj i anglijskoj literature* [National Myth in Russian and English Literature]. Kazan: TGGPU Publ., 2009. 611 p. (in Russian).
- Vejdenbaum E. Pushkin na Kavkaze v 1820 godu [Pushkin in the Caucasus in 1820], in *Pushkin A.S. Sobranie sochinenij v shesti tomah* [Collected Works in 6 vol.]. Sankt-Petersburg: Brockhaus–Efron Publ., 1907–1915. Vol. II. 1908. 640 p. (in Russian).
- Dal' V.I. (Kazak Luganskij). Rasskaz lezginca Asana o pohoždenijah svoih (pisano so slov rasskazchika) [Lugansk Cossack. The Story of Lezghin Asan about His Adventures (Written from the Words of the Narrator)], in *Dal' V.I. Polnoe sobranie sochinenij* [Complete Works]. Sankt-Petersburg; Moscow, 1897. Vol. 2. Pp. 150–206 (in Russian).
- Ermolov A.P. *Zapiski A.P. Ermolova. 1798–1826* [Notes of A.P. Ermolov. 1798–1826]. Moscow: Vysshaja Shkola Publ., 1991. 463 p. (in Russian).
- Zhirmundskij V.M. *Bajron i Pushkin* [Byron and Pushkin]. Leningrad: Nauka Publ., 1978. 424 p. (in Russian).

- Ignat'ev A. *Kavkaz v zhizni i tvorchestve M. Ju. Lermontova* [The Caucasus in the Life and Work of M. Yu. Lermontov]. Available at: [http:// nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-m-yu-lermontova](http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-m-yu-lermontova) (accessed 8 August 2019).
- Kanunova F.Z. Sostavlenie, stat'ja, kommentarii [Compilation, article, comments], in *Bestuzhev-Marlinskij A.A. Kavkazskie povesti* [Caucasian Novels]. Sankt-Petersburg: Nauka Publ., 1995. 703 p. (in Russian).
- Lermontov M. Ju. *Sochinenija v shesti tomah* [Collected Works in 6 vol.]. Tom 6. Proza. Pis'ma. Moscow; Leningrad: Akademija Nauk SSSR, 1957. Vol. 6. Prose. Letters. 900 p. (in Russian).
- Lermontov M. Ju. Cherkesy [Circassians], in *Lermontov M. Ju. Sochinenija v shesti tomah* [Collected Works in 6 vol.]. Tom 3. Pojemy. 1828–1834. Moscow; Leningrad: Akademija nauk SSSR, 1955. Vol. 3. Poems. 1828–1834. 326 p. (in Russian).
- Lotman Ju. M. "Sady" Delilja v perevode Voejkova i ih mesto v ruskoj literature ["Gardens" by Delil Translated by Voeikov and their Place in Russian Literature], in *Lotman Ju. M. O pojetah i poezii. Analiz pojeticheskogo teksta* [About Poets and Poetry. Poetic Text Analysis]. Sankt-Petersburg: Iskusstvo-SPb. Publ., 1996. Pp. 468–486 (in Russian).
- Marlinskij A. *Polnoe sobranie sochinenij v dvenadcati chastjah* [Complete Works in 12 parts]. Chast' IV. Russkie povesti i rasskazy [Part IV. Russian Novels and Stories]. Sankt-Petersburg: The III Branch of His Imperial Majesty's Chancellery Publ., 1838. 269 p. (in Russian).
- Marlinskij A. *Polnoe sobranie sochinenij v dvenadcati chastjah* [Complete Works in 12 parts]. Chast' X. Kavkazskie ocherki [Part X. Caucasian Essays]. Sankt-Petersburg: The III Branch of His Imperial Majesty's Chancellery Publ., 1839. 305 p. (in Russian).
- Maslin N. O romantizme A. Marlinskogo [On the Romanticism of A. Marlinsky], in *Voprosy literatury*. 1958. № 7. Pp. 141–169 (in Russian).
- Norimacu K. Sub'ekty kolonial'noj reprezentacii v ruskoj literature XIX veka [The Subjects of Colonial Representation in Russian Literature of the XIX Century], in *Beyond the Empire: Images of Russia in the Eurasian Cultural Context. T. Mochizuki (Ed.)*. Sapporo: Slavic Reserch Center, Hokkaido University, 2008. Pp. 167–187 (in Russian).
- Perepiska I. S. *Turgeneva v dvuh tomah*. Redaktor K. I. Tjun'kin. Tom 2. [Turgenev I. S. Correspondence in two volumes. Ed. by K. I. Tyun'kin]. Moscow: Hudozhestvennaja literatura Publ., 1986. Vol. 2. 607 p. (in Russian).
- Potto V. *Kavkazskaja vojna v otidel'nyh ocherkah, jepizodah, legendah i biografijah. Vtoroe izdanie* [The Caucasian War in Separate Essays, Episodes, Legends and Biographies]. 2-nd ed. Sankt-Petersburg: E. Evdokimov Publ., 1887 (in Russian).
- Proskurin O. A. *Pojezija Pushkina, ili Podvizhnyj palimpsest* [Pushkin's Poetry, or Motile Palimpsest]. Moscow: NLO Publ., 1999. 462 p. (in Russian).
- Pushkin A. S. *Kavkazskij plennik* [The Prisoner of the Caucasus], in *Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochinenij v desjati tomah*. [Complete Works in 10 vol.]. Tom 4. Pojemy. Skazki. Leningrad: Nauka Publ., 1977. Vol. 4. Poems. Fairy Tales. 447 p. (in Russian).

- Said E.V. *Orientalizm* [Orientalism]. Sankt-Petersburg: Russkiy Mir Publ., 2006. 640 p. (in Russian).
- Tolstoj L.N. Kavkazskij plennik [The Prisoner of the Caucasus], in *Tolstoj L.N. Sobranie sochinenij v dvadcati dvuh tomah. Tom X. Povesti i rasskazy. 1872–1886* [Collected Works in 22 vol.]. Moscow: Hudozhestvennaja literatura Publ., 1982. Vol. X. Tales and Stories. Pp. 203–230 (in Russian).
- Turgenev I.S. Zapiski ohotnika [A Hunter's Sketches], in *Turgenev I.S. Sobranie sochinenij v odinnadcati tomah* [Collected Works in 11 vol.] Moscow: Pravda Publ., 1949. Vol. 1. Pp. 5–296 (in Russian).
- Hoven fon der I.R. Moe znakomstvo s dekabristami i drugimi zamechatel'nymi lichnostjami, sluzhivshimi rjadovymi v Kavkazskih vojskah v 1835–36 godah: rasskaz ochevidca [My Acquaintance with the Decembrists and other Remarkable Personalities Who Served as Rank and File in the Caucasian Troops in 1835–36: an Eyewitness Account], in *Ancient and New Russia*. 1877. T. I. № 2. Pp. 221–224 (in Russian).
- Hodanen L.A. Kul'turnyj koncept "Kavkaz" i ego tekstoobrazujuschaja rol' v tvorčestve A.S. Pushkina i M.Yu. Lermontova [The Cultural Concept «Caucasus» and its Text-forming Role in the Work of A.S. Pushkin and M.Yu. Lermontov], in *Сибирский филологический журнал*. 2015. № 4. Pp. 47–57 (in Russian).
- Etkind A. *Vnutrennjaja kolonizacija. Imperskij opyt Rossii: Avtorizovannyj perevod s anglijskogo V. Makarova* [Internal Colonization. The imperial experience of Russia. Authorized translation from English by V. Makarov]. Moscow: NLO Publ., 2016. 448 p. (in Russian).
- Ely C. *This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia*. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2002. Ch. 2. 278 p.
- Foucault M. *Discipline and Punish. The Birth of the Prison*. New York: Vintage, 1979. 333 p.
- Grant B. *The Captive and the Gift. Cultural Histories of Sovereignty in Russia and the Caucasus*. Ithaca: Cornell University Press, 2009. 188 p.
- Hokanson K. Literary Imperialism, Narodnost' and Pushkin's Invention of the Caucasus, in *Russian Review*. 1994. Vol. 53. Iss. 3. Pp. 336–352.
- Hokanson K. *Writing at Russia's Border*. Toronto: University of Toronto Press, 2008. 301 p.
- Layton S. Aleksandr Polezhaev and Remembrance of War in the Caucasus: Constructions of the Soldier as Victim, in *Slavic Review*. 1999. Vol. 58. Iss. 3. Pp. 559–583.
- Layton S. *Russian Literature and Empire. Conquer of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 354 p.
- Mauss M. *The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies*. London: Routledge, 2002. 199 p.
- Mersereau J.Jr. *Russian Romantic Fiction*. Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1983. 336 p.
- Mumford L. *The story of Utopias*. New York: The Viking Press, 1972. 315 p.